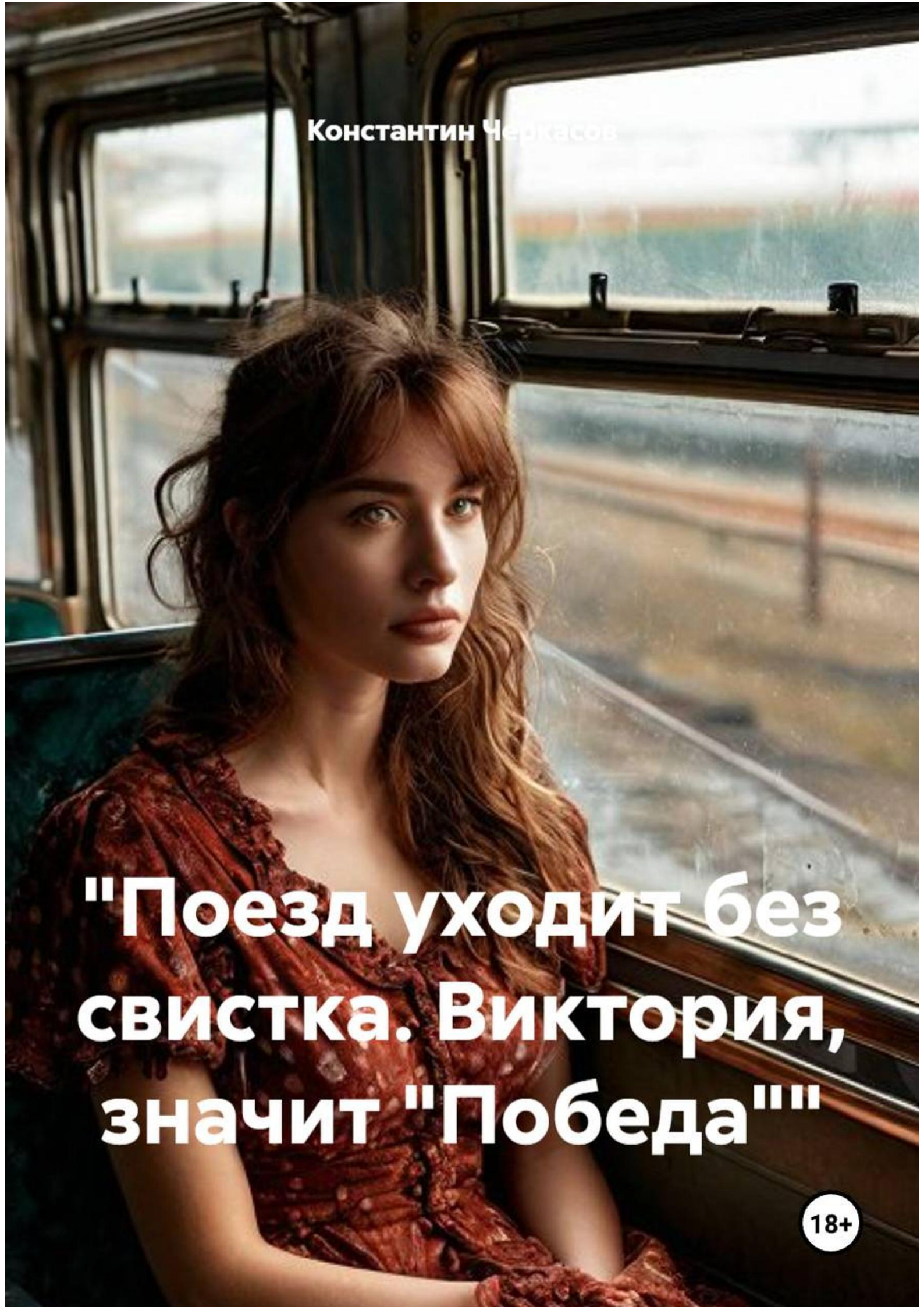




Константин Черкасцов

**"Поезд уходит без
свистка. Виктория,
значит "Победа""**

18+

Константин Черкасов

**"Поезд уходит без свистка.
Виктория, значит "Победа""**

«Автор»

2026

Черкасов К.

"Поезд уходит без свистка. Виктория, значит "Победа"" /
К. Черкасов — «Автор», 2026

Она просыпается в плацкартном поезде без билета и без памяти. Её имя Виктория — «Победа». Но какой ценой даётся победа? В вагоне двое: Михаил с усталым лицом и Темптер с жёлтыми волчьими глазами. Они показывают ей её жизнь в окнах поезда, рассказывают притчи — о Давиде и Вирсавии, об Иове, о блудном сыне. И каждая история становится её собственным прошлым: первый муж-военный хирург, превративший дом в операционную; любовь, которая растворилась в тишине; брак с бандитом, оставивший шрамы на душе и теле. Виктория проходит через рождение четверых детей, паралич, иглы акупунктуры и упрямый подвал массажного кабинета. Она теряет себя и находит заново, чтобы спустя тридцать лет увидеть в интернете фотографию первенца и понять: прошлое не отпускает, но его можно простить. Четвёртая книга цикла о поезде, который уходит без свистка, о женщине, которая научилась дышать, и о том, что даже из самого долгого маршрута можно выйти на станцию Прощение.

© Черкасов К., 2026

© Автор, 2026

Константин Черкасов

"Поезд уходит без свистка. Виктория, значит "Победа"»

Введение

«Посвящается, той самой Виктории»

Вот мы и дошли до четвёртой истории.

Если вы держите в руках эту книгу — значит, вы уже проехали три станции. Или, может быть, эта книга сама нашла вас, чтобы вы сели в поезд, который уходит без свистка. В любом случае — вы здесь. И это не случайно.

Поезда всегда уходят без свистка.

Их не слышно — только чувствуешь: сначала лёгкую вибрацию, потом — движение, которое невозможно остановить. Они не объявляют о своём прибытии, не просят билетов, не ждут опоздавших. Они просто есть. Они идут по рельсам, проложенным задолго до того, как мы родились.

Это четвёртый поезд.

Четвёртая глава в цикле, который пишется не мной, а самой жизнью — её тенями, её тишиной, её внезапными рассветами. Предыдущие три истории остались за горизонтом, но их эхо всё ещё звучит в стуке колёс. Теперь настала очередь этой.

В этом поезде нет расписания. Нет конечной станции. Есть только плацкартный вагон, гранёные стаканы с чаем, который никогда не остывает, и пассажиры, которые когда-то были людьми. Или, может быть, ещё станут.

Говорят, каждый из нас хоть раз в жизни садится в такой поезд. Иногда — чтобы уехать. Иногда — чтобы вернуться. Но чаще всего — чтобы просто понять: куда мы едем на самом деле.

Виктория села в этот поезд, не помня, как и зачем.

Она не знала своего имени, пока кто-то не назвал его ей. Она не знала своего прошлого, пока не начала видеть его в окнах. Она не знала, кто она — жертва, воин или просто женщина, которая слишком долго позволяла другим решать за неё.

Но у каждого путешествия есть конец. И даже у самого долгого маршрута есть станция, на которой можно выйти.

Эта книга — четвёртая. Но она не про порядок. Она про то, что даже после трёх кругов ада можно выдохнуть. Что даже когда кажется, что ты всё потерял, у тебя остаётся выбор — продолжать ехать или сойти на перрон, которого нет на карте, но который ждёт именно тебя.

Её имя — Виктория. Это значит «Победа».

Но победа не всегда громкая. Иногда она — просто умение дышать, когда нечем дышать. Иногда — способность встать, когда тебя сбили с ног. Иногда — простить того, кто не заслужил прощения. Или, наоборот, не простить, но отпустить. Это четвёртая история.

Но, если вы чувствуете, что она — про вас, значит, вы уже были в этом поезде. Или обязательно сядете в него. Когда будет нужно. Поезд уходит без свистка.

Но он обязательно остановится там, где нужно.

Вопрос только в том, готова ли ты выйти.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «Вагон первого круга»

Глава 1. Чай, который не остывает

Она пришла в себя от того, что кто-то дышал ей в затылок.

Дыхание было тёплым, влажным, с кисловатым привкусом перегара, но, когда Виктория резко обернулась — за её спиной была только серая, замызганная стенка плацкартного вагона, обитая выцветшим дерматином. На уровне её плеча маслянистое пятно, похожее на старую кровь, а чуть выше кто-то выдавил шариковой ручкой кривую звезду с шестью концами.

Голова гудела. Не просто болела — гудела, как огромный колокол, который били где-то внутри черепа, и каждый удар отдавался в зубы. Виктория лежала на верхней боковой полке, вжавшись спиной в продавленный матрац, и пыталась вспомнить хоть что-нибудь. *Как я здесь оказалась? Где мой билет? Где моя сумка?* Вместо ответа — пустота, белая и плотная, как вата.

Поезд шёл тяжело, с натугой. Колеса выстукивали не ритм, а какую-то безумную аритмию: то замедлялись до вязкого *тук... тук... тук*, то вдруг срывались в дробь, от которой всё внутри начинало вибрировать, и стакан с недопитым чаем на столике внизу подпрыгивал, но не опрокидывался, потому что чай в нём был странный — чёрный, как дёготь, и казалось, он застыл, превратившись в густой сироп.

Виктория свесила голову вниз.

Плацкартный ад открылся во всей красе. Прямо под ней, на нижней полке, сидела цыганка с лицом, испещрённым морщинами, как старая географическая карта. Она кормила грудью младенца, но грудь у неё была синяя, почти фиолетовая, и молоко, которое текло, было не белым, а мутно-серым. Рядом с ней, на корточках, сидел цыганёнок лет пяти и сосредоточенно выковыривал спичкой грязь из-под ногтя. Никто из них не поднял головы.

В проходе, привалившись к стойке, дремал пьяный мужик в тельняшке. Его лицо было разбито, нос свёрнут набок, и из разбитой губы сочилась кровь, смешанная с плевками. Он что-то бормотал во сне, и слова его были странными — не по-русски, но Виктория вдруг с ужасом поняла, что *понимает* их. Он говорил о дверях, которые откроются в конце тоннеля, и о том, что внутри них — мокрое пламя.

Двое солдат сидели у окна. Одеты они были в советскую форму, но с какими-то нелепыми нашивками: на рукавах — алые цветы с пятью лепестками, которые пульсировали, как живые. Они не играли в карты, а просто молча смотрели в грязное стекло, и отражения их лиц были на несколько секунд старше, чем они сами. Один из них вдруг обернулся к Виктории и улыбнулся — но улыбка его была обратной: его губы растянулись, а уголки поползли вниз, так что он одновременно плакал и радовался.

— Доброе утро, — сказал он голосом старого, прокуренного баса. — Ты уже проснулась? А мы всё едем, всё едем...

Виктория хотела ответить, но слова застряли в горле. Вместо этого она услышала голос — другой, глубокий, бархатистый, который доносился откуда-то из середины вагона.

— Не обращай на них внимания, Виктория. Они не настоящие. Они — шум. Фон. Тени, которые решили, что они люди.

Она с трудом спустилась вниз. Ноги не слушались, подкашивались в коленях, но она заставила себя идти, цепляясь за поручни, которые были холодными, как лёд, хотя в вагоне стояла духота под сорок градусов. Воздух был спрессованным, тяжёлым, и каждый вдох отдавал металлом.

В конце вагона, за столиком, который был завален окурками и обёртками от ирисок, сидели двое.

Первый — мужчина лет под пятьдесят, с лицом, которое нельзя было назвать старым, но оно было усталым до такой степени, что казалось, будто он прожил не одну, а три жизни. Светлые волосы, тронутые сединой, глаза серые, но не колючие, а мягкие, прощающие. На нём была белая рубашка, но воротник её был расстёгнут, и под ним виднелась татуировка — что-то вроде шестикрылого существа, сложившего крылья. Он держал в руках книгу, но книга была без обложки, и страницы её светились изнутри ровным, молочным светом.

Второй был ярким, как пятно кислоты на сером покрывале. Молодой — на вид лет тридцать, с чёрными, как ночь, волосами, зачёсанными назад, с острыми скулами и глазами, которые горели жёлтым, как у волка. Он был одет в алый пиджак из дорогого бархата, под которым не было рубашки, так что открывалась его грудь — гладкая, бронзовая, с единственным родимым пятном в форме перевернутой капли. На столе перед ним стояли две рюмки, но вместо водки в них плескалось что-то золотое, и от этого золотого шёл пар, но пар не поднимался, а стелился по столу, как змея.

— Виктория, — сказал первый, поднимая на неё глаза. — Проходи. Садись. Ты долго спала. Мы уже почти проехали первую станцию, но не волнуйся — в этом поезде станции не имеют значения.

Она села напротив, чувствуя, как от них обоих исходит разное тепло. От первого — ровное, греющее, как от печки. От второго — обжигающее, холодное, как от огня, который жжёт, но не греет.

— Вы кто? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом.

— Я Михаил, — сказал первый. — А это...

— Темптер, — перебил второй и усмехнулся, обнажая зубы, которые были слишком белыми, слишком острыми. — Не бойся имени, девочка. Мы здесь, чтобы помочь тебе вспомнить. Ты ведь ничего не помнишь, да? Как сюда попала, куда едешь, кто ты вообще такая?

Она молчала. Правда била по лицу, как мокрая тряпка. Она действительно не помнила. Ни своего возраста — хотя чувствовала, что ей далеко за сорок, ни своей профессии, ни того, есть ли у неё семья. Только имя, всплывшее в сознание, как пузырёк воздуха из глубины чёрной воды.

— Виктория, — прошептала она. — Меня зовут Виктория.

— А больше ничего? — Темптер наклонился вперёд, и его глаза стали ещё ярче, почти ослепительными. — Ничего о том, что было до? Ни одного лица, ни одного голоса, ни одной боли?

Она покачала головой. Но в этот момент в её памяти что-то шевельнулось — тень, силуэт мужчины в военной форме, крик, который она не могла различить, и запах крови. Крови и хвои. Но тень исчезла так же быстро, как и появилась.

— Не торопите её, — мягко сказал Михаил. — Всему своё время. В этом поезде каждая минута длится ровно столько, сколько нужно.

В этот момент из тамбура, отодвигая тяжёлую дверь с ободранной краской, вышел проводник.

Он был старым. Очень старым. Его лицо было изрезано глубокими морщинами, как кора старого дуба, а глаза — два тёмных, бездонных колодца, в которых, казалось, отражались звёзды. На нём была помятая проводника форма, но фуражка сидела набекрень, и из-под неё выбивались седые пряди. В руках он держал огромный, блестящий самоварный чайник, который дымился, хотя на его боках не было ни единой капли росы.

Он подошёл к их столику. Никто из пассажиров не обратил на него внимания — цыгане продолжали своё дело, солдаты смотрели в окна, пьяный мужик всхрапывал. Только Михаил и Темптер подняли головы, и в их взглядах Виктория прочитала нечто странное: Михаил смотрел на проводника с почтительной нежностью, а Темптер — с вызовом, с лёгкой усмешкой, но

в глубине его глаз мелькнул страх. Самый настоящий, животный страх, который он тут же спрятал за улыбкой.

— Ну здравствуй, Серафим, — сказал Темптер. — Всё носишь свой чай? Думаешь, он поможет?

— У каждого своя дорога, — голос проводника был хриплым, но при этом чистым, как звон камертона. — Ты это знаешь лучше меня, Темптер. Ты же сам эту дорогу прокладывал.

Он поставил перед Викторией гранёный стакан в тяжёлом мельхиоровом подстаканнике. На подстаканнике был выгравирован узор — виноградная лоза, обвивающая крест, но крест был перевёрнутым. В стакане дымился чёрный чай, такой густой, что ложка стояла в нём вертикально, не падая.

— Пейте, — сказал Серафим, наклоняясь к самому её уху. Его дыхание было тёплым, пахло сушёной мятой и чем-то далёким, как степной ветер. — Пейте, пока не поздно. Пока поезд не остановился на той станции, с которой нет обратных билетов.

Она взяла стакан. Обжигало, но она не могла отдернуть руку — стакан словно прилип к её ладоням. Она поднесла его к губам, сделала глоток. Чай был странным — горьким, солёным, с привкусом дыма и мёда, но после глотка внутри неё разлилось не тепло, а холод. Ледяной, очищающий холод, который прошёл по всем жилам, и за ним она вдруг услышала голоса. Тысячи голосов, которые шептали, рыдали, смеялись — все одновременно, и среди них она узнала один. Свой собственный. Но голос этот просил о помощи, молил о смерти, и она вздрогнула, едва не выронив стакан.

— Не бойся, — сказал Михаил, и его рука легла поверх её дрожащей руки. — Это воспоминания. Они всегда горькие, когда просыпаются в первый раз.

Темптер рассмеялся, но смех его был сухим, ломким.

— Сладкая Виктория, ты даже не представляешь, что тебя ждёт. Ты думаешь, это просто поездка? Нет, это твоя жизнь. Вся. Каждый грех, каждое унижение, каждая твоя победа, которую ты считала поражением. Мы здесь — твои провожатые. Я покажу тебе нижние круги, а Михаил — попытается вытащить тебя на свет. Но угадай, кто из нас сильнее?

Он подмигнул, и в этом подмигивании было столько вековой, усталой злобы, что Виктория на мгновение перестала дышать.

Она снова поднесла стакан к губам. Чай не остывал. Он был горячим, обжигающе горячим, и она пила его, пила, чувствуя, как внутри неё распускается странный цветок, который тянулся к свету, но свет этот был не из вагона — он был из того, что за стеклом.

Виктория посмотрела в окно. За грязным стеклом, в сером осеннем небе, она увидела станцию с названием, которого не могло быть. «Забайкальск» — было написано ржавыми буквами на облупившейся табличке. Но вместо путей за окном стоял дом, старый деревянный дом, из окон которого лился жёлтый, больничный свет. И в этом свете она увидела себя — молодую, лет двадцати, с длинными тёмными волосами, стоящую на пороге. Она смотрела на неё, Викторию из поезда, и в её глазах был немой крик:

«Не уезжай. Остановись. Это ещё можно отменить».

— Это первая остановка, — тихо сказал Серафим, поправляя фуражку. — Все выходят здесь. Но ты поедешь дальше. Ты должна увидеть всё. Каждую свою станцию, каждый кошмар, каждого мужчину, который вырезал кусок твоей души, чтобы защитить себя им.

Поезд резко дёрнулся, заскрипел тормозами, и гул колёс перешёл в протяжный, тоскливый вой. Солдатики застыли, цыганка перестала кормить, пьяный мужик открыл глаза, зрачки его были белыми, как молоко.

— Пейте, — повторил проводник, и в голосе его зазвенела сталь. — Чай не остывает. Пока вы его пьёте, вы живы. Как только остынет — вы выйдете на той станции, где у вас никогда не было билета.

Виктория сжала стакан дрожащими пальцами и сделала ещё один, глубокий глоток. Чай был всё так же горяч, обжигающе горяч, и внутри неё разливался холод, но теперь она видела яснее. Она видела молодую себя, стоящую у того дома, она видела мужчину в военной форме, который выходил из двери, — высокого, плечистого, с жёстким лицом. Он шёл к ней, и его руки были в крови, но он улыбался.

Стекло потемнело, и вместо той станции Виктория увидела только отражение своего лица — испуганного, со слезами, которые катились по щекам, она не чувствовала их. Только горечь чая на губах и холод, который становился всё глубже, всё отчётливее.

— Что это было? — прошептала она, обращаясь к Михаилу.

Тот вздохнул и закрыл светящуюся книгу.

— Это твой первый муж, Виктория. Тот, кто сломал тебя, когда ты была ещё целой. Не волнуйся, — он посмотрел на неё с бесконечной жалостью, — у нас будет много времени, чтобы поговорить о нём. Целый вагон, целая вечность.

Темптер рассмеялся, звонко и отрывисто, и поднял свою рюмку с золотой жидкостью.

— За новую пассажирку! — провозгласил он, но в тосте его слышалась не радость, а древняя, холодная насмешка. — За ту, которая думала, что кошмары заканчиваются утром. Добро пожаловать в поезд, Виктория. Здесь нет утра. Только ночь и чай, который никогда не остывает.

А поезд снова набрал ход, и колёса застучали с новой, бешеной скоростью, унося её в самую гущу той жизни, которую она так старательно пыталась забыть. И чай в её руках всё ещё дымился, обжигая пальцы, — горячий, горький, как сама правда.

Глава 2. Степь и танки Иова

Поезд шёл сквозь серую, выцветшую пустоту. За окном больше не было ни станций, ни домов, ни даже деревьев — только бесконечная, плоская степь, припорошенная снегом, который казался не белым, а пепельным, как будто кто-то огромный и безжалостный выкурил целое небо, оставив лишь золу. Колеса стучали с прежней аритмией, но теперь в этом стуке Виктория различала нечто большее: он напоминал отдалённые взрывы, артиллерийские залпы, приглушённые расстоянием и временем.

Она всё ещё держала стакан. Чай не остывал. Его поверхность подрагивала от вибрации состава, и в этом дрожащем чёрном зеркале иногда мелькали лица — не её, чужие, искажённые, с широко открытыми ртами. Виктория уже перестала вздрагивать при каждом таком видении. Она привыкала к этому поезду, как привыкают к хронической боли — она есть, она никуда не денется, и остаётся только дышать сквозь неё.

Михаил сидел напротив, сложив руки на своей безымянной книге, и смотрел на неё с той тихой, прощающей печалью, которая одновременно успокаивала и пугала. Темптер развалился на сиденье, закинув ногу на ногу, и поигрывал золотой рюмкой. Жидкость в ней дрожала, но не расплёскивалась, сворачиваясь странными спиралями.

— Ты готова, Виктория? — спросил Михаил. Голос его звучал ровно, но в нём была глубина, как в старом колодце. — Первая история, которую я расскажу тебе, — не о женщине. Не о жертве. О мужчине, который потерял всё, но не сломался. О майоре Иове.

Она подняла глаза от стакана. Имя отозвалось в ней чем-то смутным, почти знакомым, будто она уже слышала его во сне или читала в книге, которую забыла.

— Иов? — переспросила она. — Как библейский Иов?

Темптер фыркнул, и в этом звуке было столько презрения, что воздух вокруг него словно сгустился.

— Библейский, говоришь? — он наклонился вперёд, и жёлтые его глаза загорелись. — Тот Иов был овцой, которую пастух гонял по пустыне, проверяя, вернётся ли она домой после того, как он перебьёт всё её стадо и сожжёт детей. В этом нет величия. Это просто лояльность

перепуганной скотины. А вот мой Иов... — он усмехнулся, обнажив белые, слишком острые клыки, — он был человеком. Настоящим. И когда ему оторвало руки, он не просил пощады. Он дополз до окопа и продолжал стрелять зубами.

Михаил вздохнул. Вздох его был усталым, как у отца, который тысячу раз пытался взломать своего бешеного сына.

— Не слушай его, Виктория. Темптер любит приукрашивать, делать из боли зрелище. Я расскажу тебе всё как было. Без грима и без карнавальных огней.

Он щёлкнул пальцами. И в тот же миг вагон вокруг неё словно растворился. Стекло окна пошло рябью — не как вода, а как старый кинескоп, на котором сбилась настройка. Цыгане, солдаты, пьяный мужик — все они стали размытыми теньями, и только стук колёс остался реальным, пронзительным, как метроном, отсчитывающий последние минуты.

Степь за окном исчезла. Вместо неё развернулась совсем другая картина — белая, слепящая, продуваемая ледяным ветром, от которого у Виктории свело скулы, хотя она сидела в душном вагоне.

Заснеженный полигон. Январь 1942 года.

Небо было свинцовым, низким, и снег шёл не хлопьями, а колючей крупой, которая врезалась в лицо, как дробь. Всё вокруг было усеяно чёрными пятнами — воронками от снарядов, и из каждой воронки торчали обломки техники: гусеницы, колёса, искореженные остовы машин. Танки. Множество танков. Немецких, советских, а может быть, и вовсе нечеловеческих — с башнями, скрученными в спирали, и орудийными стволами, задранными к небу, как пальцы мёртвых гигантов.

Посреди этого ада, на открытом пространстве, стоял на коленях человек.

Он был в рваном полушубке, который висел на нём, как тряпка. Левый рукав был пуст и болтался, пристёгнутый к поясу из ремня. Правая рука, окровавленная, сжимала что-то, что Виктория сначала приняла за нож, но потом разглядела — это был компас. Треснувший, с застывшей стрелкой, которая смотрела не на север, а прямо в небо.

Человек был молод — лет двадцати пяти, не больше. Но лицо его было старым: изрезанным морщинами, обветренным, с глубокими тенями под глазами. Он не плакал. Он просто стоял на коленях и смотрел на горизонт, где догорали остатки сгоревшей деревни. От деревни остались только печные трубы, чёрные, как закопчённые пальцы, торчащие из сугробов.

— Это Иов, — раздался голос Михаила. Он звучал прямо в голове у Виктории, но она видела, что губы его не двигаются. — Восемнадцатый год рождения. Лейтенант, потом майор. Сорок второй, Сталинградское направление. Его батальон попал в окружение. Три дня они держались в этой степи, без сна, без хлеба, без воды. Последнюю воду пили из радиаторов подбитых танков. Из пятисот человек выжило двенадцать. Двенадцать, Виктория. Остальные — там.

Она посмотрела вниз. Под ногами человека, на снегу, лежали тела. Много тел. Они были частично присыпаны снегом, и казалось, что это просто холмики, но в некоторых местах из-под белой пелены торчали руки, ноги, обрывки шинелей. И кровь. Кровь была странного цвета — не алого, а тёмно-бордового, почти чёрного, и она не замерзала, а медленно растекалась по снегу, как живое существо.

Иов перевёл взгляд на небо. Губы его шевелились, и Виктория, хотя не слышала звука, вдруг поняла каждое слово.

«Господи, за что? За что Ты дал мне этот мир, если Ты так легко его отнимаешь? Зачем Ты дал мне глаза, чтобы я видел смерть своих солдат? Зачем Ты дал мне руки, чтобы я не мог их защитить?»

И он поднял свою единственную руку с компасом к небу. Стрелка компаса вдруг ожила и начала бешено вращаться, как безумная, а потом застыла, указывая не вверх, прямо на него самого. На его сердце.

Иов посмотрел на компас. И на его обветренных губах появилась странная, кривая улыбка.

— Спасибо, — прошептал он одними губами. — Спасибо, что дал мне дожить до этого утра. И спасибо, что не дал мне возненавидеть Тебя. Я принимаю эту степь. Я принимаю эту смерть. Я принимаю Твою тишину.

Он не проклял. Он не взмолился о чуде. Он просто принял, и в этом принятии было столько силы, что у Виктории перехватило дыхание. Она увидела, как из его груди, из того места, куда указывала стрелка компаса, вырвался тонкий лучик света — неяркий, почти неуловимый, но он осветил снег вокруг него, и на мгновение тела павших солдат покрылись серебристым инеем, который сверкал, как алмазная крошка.

— Невероятно, — прошептала Виктория. — Он не проклял. Он сказал «спасибо».

Темптер скривился, и его лицо исказила гримаса такой острой злобы, что на мгновение оно стало звериным — челюсти выдвинулись вперёд, глаза загорелись красным.

— Дурак! — выплюнул он. — Тупая, покорная тварь! Ему оторвало руку, ему дали смотреть, как гибнут его дети, его солдаты, его страна, а он говорит «спасибо»? Это не сила. Это дефект! Это вырожденческая покорность, которую вы, люди, называете верой. И это, — он ткнул пальцем в сторону окна, где Иов продолжал стоять на коленях, но теперь снег вокруг него начал плавиться, обнажая чёрную, выжженную землю, — это не пример. Это позор!

— Замолчи, — тихо сказал Михаил, и в голосе его впервые послышался металл. — Ты не понимаешь, потому что ты никогда не терял. Ты только отнимал. А он потерял всё, и в этой потере нашёл опору. Ты называешь это слабостью, но это единственная сила, перед которой ты бессилен. Потому что это — любовь. Любовь, которая не требует награды.

Темптер вскочил. Его алый пиджак полыхнул, как огонь, и от него повеяло таким жаром, что Виктория отшатнулась, прикрывая лицо рукой.

— Любовь?! — прошипел он. — Посмотри на неё, Михаил. Посмотри! Она это видит, и она уже плачет. Она будет жалеть себя до конца своих дней, потому что она — такая же, как он. Она тоже принимала удары, и тоже не смела ударить в ответ. Но разве это помогло ей? Разве это спасло её от того, что было в Забайкальске? Разве это спасло её от Сергея?

Он указал на Викторию, и в его пальцах сверкнула молния — тонкая, как игла.

— Она — Иов в юбке! Она тоже теряла детей, тоже терпела, тоже глотала слёзы. И что? Только боль, Виктория. Только пустота и чай, который не остывает, но и не греет.

Виктория вцепилась в подстаканник так, что костяшки побелели. Она хотела возразить, хотела сказать, что это не так, что она не такая, что она боролась, но слова застряли в горле, потому что где-то в глубине души она знала — Темптер прав. Она всю жизнь принимала удары. Всю жизнь она говорила «спасибо» за то, что её не убили, и считала это победой.

Она снова посмотрела в окно.

Иов уже стоял на ногах. Он шагал через степь, опираясь на ветку, выломанную из сгоревшего кустарника. Снег вокруг него расступался, и из-под сугробов пробивались первые, робкие травинки. Они были зелёными — неестественно яркими, почти светящимися, и они росли прямо на месте крови. Там, где лежали тела, теперь пробивалась трава.

— Он выжил? — спросила Виктория, не веря своим глазам.

— Да, — ответил Михаил. — Он дошёл до своих. Его нашли санитары через два дня. Он потерял руку, переболел тифом, но выжил. Дожил до девяноста трёх лет. У него было семеро детей. И он никогда, ни разу не проклял Бога. Он говорил, что в той степи, на коленях, он понял главное: боль — это не наказание. Это проверка. Проверка на то, останешься ли ты человеком, когда мир перестанет быть человеческим.

Картина в окне поплыла, растворяясь, и снова стала серой, пустой степью. Только теперь Виктория видела в ней не просто пейзаж — она видела свой собственный путь. Всю жизнь, все

годы, все унижения, все руки, которые били, и все лица, которые отворачивались. И вдруг она с ужасом поняла, что Михаил рассказывал эту историю не просто так.

— Это моё будущее? — спросила она, и голос её дрогнул. — Я тоже должна дойти до конца и не проклясть?

Темптер рассмеялся, но теперь в его смехе не было злобы — только печаль. Древняя, вселенская печаль, от которой ей стало холодно, несмотря на горячий чай.

— Нет, девочка. Это твой выбор. А мы здесь только для того, чтобы показать тебе все возможные варианты. Иов выбрал свет. А ты? — он склонил голову, и в жёлтых его глазах мелькнуло что-то человеческое. — Ты выбрала то, что выбирают все. Ты просто плыла по течению. Пока не оказалась здесь. В этом поезде. Без билета, без имени, без прошлого.

Она опустила глаза в стакан. Чай всё ещё дымился, и в его чёрной глубине она вдруг увидела другое отражение — не своё, а того самого Иова. Он стоял на коленях, и в его глазах была та же пустота, что и у неё, но в этой пустоте горела искра. Маленькая, почти угасшая, но живая.

— Я не хочу быть слабой, — прошептала она. — Я хочу быть как он.

— Тогда допивай чай, — сказал Михаил, и в его улыбке стало столько тепла, что Виктория почти поверила, что всё будет хорошо. — Допивай, Виктория. Впереди много остановок. И каждая из них научит тебя быть той, кем ты всегда должна была стать.

Она поднесла стакан к губам и сделала долгий, жадный глоток. Чай обжёг горло, но внутри разлился тот же холод, который теперь казался ей очищающим. Она смотрела в окно на пустую степь, но перед глазами всё ещё стоял Иов — человек, который потерял руку, но сохранил душу.

— Спасибо, — прошептала она, сама не зная, кому обращается. Но в этот момент колеса застучали громче, и в тамбуре послышался голос Серафима, который кричал:

— Приготовьтесь, пассажиры! Следующая станция — «Забайкальск». Стоянка двадцать лет. Выходим все, кто ещё помнит своих мужей!

Виктория вздрогнула. Сердце забилося где-то в горле. Она поняла, что следующая история будет о ней. О Сергее. О том первом мужчине, который сломал её, когда она была ещё целой.

Темптер перегнулся через стол и прошептал ей на ухо, и его дыхание было ледяным:

— Это только начало, моя сладкая. Сейчас ты увидишь себя настоящую. Ту, что стояла на пороге тайги и смотрела смерти в глаза. Я хочу видеть твой страх. Твой настоящий, чистый страх.

Он откинулся на спинку, и в его руке снова появилась золотая рюмка, полная до краёв. Он поднял её.

— За Иова, — сказал он с усмешкой. — За его распятие без креста. И за тебя, Виктория. За твою долгую, мучительную дорогу, в конце которой, возможно, ничего нет. Только пустота. Только чай в подстаканнике, который никогда не остывает.

Она сделала ещё один глоток. Чай был горячим, как в первый раз. И она знала — теперь он не остынет никогда.

Глава 3. Хирург с запахом тайги

Она не поняла, когда именно они перестали быть просто спутниками. Поезд замедлил ход, колёса заскрежетали так пронзительно, что Виктория зажала уши ладонями, но звук проходил сквозь пальцы, как сквозь решето. Вагон качнуло, занавески на окнах колыхнулись, хотя форточки были закрыты наглухо, и на мгновение все лампы погасли — наступила та особенная, густая темнота, в которой слышно, как бьётся собственное сердце.

А когда свет зажётся снова, она уже не сидела за столиком напротив Михаила и Темптера. Она стояла.

Точнее, она *видела* себя стоящей. Со стороны. Как в старом, чуть запотевшем зеркале, но зеркало это было огромным, во всю стену, и вместо отражения в нём разворачивался коридор с выцветшим линолеумом и стенами, покрашенными масляной краской цвета «слоновая кость», которая уже пожелтела до цвета старой бумаги.

Виктория поняла: это воспоминание. Настоящее. Не картинка, не притча — её собственная жизнь, вывернутая наизнанку и показанная в этом странном, горячем стекле.

Она смотрела на себя молодую. Лет двадцати, с длинными тёмными волосами, собранными в небрежный хвост, в простом платье в синий горошек, которое казалось ей тогда самым красивым на свете. Она сидела на деревянном стуле в приёмной военкомата, сжимая в руках паспорт и направление из института. Рядом с ней сидели другие девушки — такие же испуганные, сжимающие сумочки, но Виктория вглядывалась не в них. Она смотрела на дверь с табличкой «Начальник отдела кадров».

Дверь открылась, и вышел ОН.

Мужчина. Высокий, под два метра, с плечами, которые едва вписывались в дверной проём. Форма сидела на нём идеально — не парадная, а полевая, с погонами капитана, и пахло от него не потом и не табаком, а чем-то чистым, резким, как морозный воздух. Сосновой хвоей, снегом и ещё чем-то, что Виктория тогда не могла определить, но что теперь, оглядываясь из поезда, поняла — это был запах тайги. Глубокой, бескрайней тайги, которая ждала её впереди.

Сергей. Она не знала его имени, но, когда он прошёл мимо, задев её плечо твёрдым рукавом, она вдруг почувствовала, как внутри неё что-то переворачивается. Как будто кто-то тронул струну, о существовании которой она не подозревала. Она подняла голову и встретила с ним взглядом.

Его глаза были серыми, почти прозрачными, как вода в горном ручье, и в них не было ни тепла, ни холода — только точность. Та самая точность, с которой хирург берёт в руки скальпель. Он посмотрел на неё ровно одну секунду, но этой секунды хватило, чтобы она поняла: *этот человек разделит её жизнь. Навсегда.*

Он остановился у стола, где сидела секретарша, и что-то сказал ей, коротко, резко, как приказ. Секретарша закивала и протянула ему папку. Он взял её своими руками — большими, с длинными пальцами, на которых не было колец, и Виктория увидела, как уверенно они двигаются, как каждый жест отточен до автоматизма.

«Руки хирурга», — подумала она тогда и почему-то улыбнулась.

Она не знала, что эти руки через несколько лет будут разделять собачьи туши на кухонном столе, зарисовывая разрезы в походный блокнот, и что запах крови смешается с запахом хвои навсегда.

Темптер возник рядом с ней в этом видении как тень, хотя она чувствовала его присутствие затылком. Он не касался её, но его дыхание было ледяным, и от него пахло серой.

— Смотри, смотри, — шепнул он ей в самое ухо, хотя губы его не двигались. — Какая же ты была дурочка. Ты ведь видела его руки, да? Ты видела, как он сжимает ту папку, как он её *не отпускает*. Но ты подумала не о том, что это руки убийцы. Ты подумала о том, что они будут тебя гладить.

Виктория хотела ответить, но не могла. Она была лишь наблюдателем, запёртым в стекле. Она видела, как её молодая версия поднимается со стула, подходит к тому же столу и дрожащим голосом спрашивает, кого ждать на распределение. Секретарша поднимает глаза и произносит:

— Капитан Сергей Васильевич Торопов. Военный хирург. Закончил академию с отличием. Распределение — Забайкальский военный округ, гарнизон «Сосновка». Сопровождение жены разрешается.

Виктория из поезда закрыла глаза. Она помнила этот момент до мельчайших подробностей: как у неё подкосились ноги, как она едва не упала, как Сергей, стоявший уже в дверях, вдруг обернулся и посмотрел на неё снова — уже с лёгкой, едва заметной улыбкой.

— Вы поедете со мной? — спросил он, и голос его был низким, спокойным, как будто он спрашивал, не хочет ли она чаю.

Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова.

Свадьба.

Видение сменилось, как в калейдоскопе. Теперь она стояла в гарнизонном Доме культуры, который назывался «Красная звезда», но звёзды на фасаде давно облупились, и вместо красных они были грязно-розовыми, как старые шрамы. Зал был заставлен деревянными стульями, на сцене висел советский флаг, а по углам стояли искусственные пальмы в кадках, заваленных окурками и использованными стаканчиками.

Она была в белом платье, которое сшила ей мать за три ночи, — с длинными рукавами и скромным кружевным воротником. Платье было не по размеру, немного велико, и Виктория помнила, как она то и дело поправляла его, боясь, что лямка сползет с плеча.

Сергей стоял перед ней в парадной форме, с орденскими планками, которые он надел специально для этого дня. Его лицо было серьёзным, почти суровым, но в глубине серых глаз плясали весёлые искры, которые она видела только в этот день. За его спиной стояли его сослуживцы — такие же высокие, с жёсткими лицами, но они улыбались, и их улыбки были тёплыми.

Когда её спросили: «Согласна ли ты, Виктория, взять в мужья Сергея?», она не раздумывала ни секунды. Голос её прозвучал громко и чисто, как колокольчик:

— Да.

И она увидела, как его рука — та самая, хирургическая — сжала её ладонь. Пальцы были сильными, уверенными, и в этом пожатии было обещание защиты. Она тогда не знала, что защита будет стоить ей свободы, а свобода — разума.

Темптер снова появился за её плечом, и в этот раз он был не один. Рядом с ним стоял Михаил, и в его взгляде была та же печаль, что и в тот момент, когда он рассказывал об Иове.

— Она не знает, — тихо сказал Михаил, обращаясь не к ней, а к Темптеру. — Она думает, что это любовь. А это — иллюзия. Её собственное желание быть спасённой, которое она спутала с любовью.

— Именно, — усмехнулся Темптер. — И это желание съест её. Сначала она будет греть руки об его спину, а потом она будет молить его, чтобы он просто не бил её по лицу. О, какая прекрасная история! Я с нетерпением жду продолжения.

Виктория рванулась, пытаясь вырваться из воспоминания, но её тело не слушалось. Она смотрела, как её молодое лицо светится счастьем, как она кружится в вальсе с этим человеком, который через несколько лет станет её палачом. Она смотрела, как он ведёт её по залу, и в его глазах — ни тени злобы, ни жестокости, только молодость и уверенность, которые так легко спутать с любовью.

А потом видение дрогнуло, и свадебный зал сменился другим пространством — купе поезда. Она снова сидела за столиком, но стакан в её руках был пуст. Чай кончился. Она взглянула на него с ужасом, потому что помнила слова Серафима.

— Не бойся, — сказал Михаил, и его рука легла на стол, прямо перед ней. — Я налью тебе ещё. Ты должна всё вспомнить до самого конца, иначе ты никогда не проснёшься.

Он поднял самоварный чайник, который откуда-то появился в его руках, и наполнил стакан. Чай снова был чёрным, как ночь, и снова дымился, хотя никто не нагревал его.

Виктория схватила стакан, обжигаясь, и сделала жадный глоток. Горячая жидкость обожгла пищевод, но следом пришёл холод, и она снова увидела себя — ту, молодую, которая едет в поезде. Уже в другом поезде. Товарном, с запахом мазута и скота. Сергей сидит напротив, читает книгу по анатомии, и его пальцы, которые держат страницу, покрыты мелкими шрамами от скальпеля.

— Ты не пожалеешь? — спрашивает он, не поднимая глаз.

— Нет, — отвечает она, и голос её дрожит от счастья. — Никогда.

И поезд в её воспоминании мчится сквозь тайгу, а за окном пляшут огни станций, которых не было на карте. И она не знает, что эта дорога — единственная, которую она запомнит на всю жизнь, потому что все остальные дороги будут вести только к боли и обратно.

Виктория из поезда закрыла глаза. По щеке покатилась слеза, горячая, как чай в её руках.

— Я была такой глупой, — прошептала она.

— Нет, — твёрдо сказал Михаил. — Ты была живой. А жизнь — это всегда риск. Ты не знала, что он скрывает. Ты не видела того, что было внутри него. Так же, как он не видел того, что было внутри тебя. Вы оба были слепы. Но это не твоя вина.

Темптер фыркнул, но теперь в его фыркание не было насмешки, только усталость.

— Слепота не оправдание, когда цена за неё — двадцать лет ада, — сказал он, но голос его звучал приглушённо, словно он говорил не с ней, а с самим собой.

Стук колёс изменился. Теперь он был медленным, тягучим, как пульс спящего зверя. Вагон снова качнуло, и за окном, где раньше была пустая степь, появились высокие, угрюмые сосны. Они стояли так плотно, что сквозь них не пробивался свет, и стволы их были чёрными, обугленными, будто здесь прошёл пожар, который никогда не кончался.

Серафим прошёл по проходу, и в его руках был не чайник, а старый, потрёпанный чемодан, который он поставил перед Викторией.

— Следующая остановка — «Сосновка», — сказал он, и голос его звучал как похоронный звон. — Ваш муж ждёт вас на перроне. И помните — чай в ваших руках. Пока он горяч, вы можете выбирать. Как только остынет — выбора не останется.

Она посмотрела на стакан. Чай был обжигающим, почти кипящим, и пар поднимался над ним тонкой, дрожащей струйкой.

Она знала, что сделает выбор. Она всегда будет выбирать дорогу, даже если знает, что в конце её ждёт пропасть.

Поезд остановился с протяжным, скрежещущим вздохом, и двери распахнулись, впуская запах хвои и сырой земли. И в этом запахе Виктория снова услышала голос молодого Сергея:

— Выходи, Виктория. Тайга ждёт. И я жду.

Она поднялась, сжимая в руке горячий стакан, сделала шаг вперёд, в открывшуюся дверь, где её ждала не станция, а новая жизнь. Жизнь, которая уже началась много лет назад, и которая только сейчас обретала свои настоящие, тёмные очертания.

Темптер не пошёл за ней. Михаил остался сидеть за столом. Только Серафим кивнул ей вслед и прошептал одними губами:

— Возвращайся, дочка. Чай не остывает. И мы будем ждать тебя столько, сколько понадобится.

Дверь за ней закрылась, и колёса снова застучали — ровно, мерно, как сердце человека, который только что потерял всё, но ещё не знает об этом.

Глава 4. Пирог с польнью

Она не вышла из поезда.

В последний момент, когда нога уже зависла над ступенькой, ведущей в сырую, пахнущую хвоей тьму, чья-то сильная рука схватила её за локоть и отдернула назад. Виктория пошатнулась, выронив стакан, но он не разбился — он завис в воздухе на мгновение, а потом бесшумно опустился на стол, и чай в нём даже не плеснулся.

— Не сейчас, — сказал Михаил, и голос его был твёрдым, как каменная кладка. — Ты ещё не готова встретиться с ним.

Двери захлопнулись с металлическим лязгом, и поезд дёрнулся, набирая ход. За окном сосны поплыли назад, сливаясь в сплошную чёрную стену, и в этой стене Виктория успела увидеть фигуру — высокую, плечистую, в военной форме с погонами майора. Фигура стояла

неподвижно, как изваяние, и смотрела прямо на неё. И хотя лицо было размыто, как на старой фотографии, Виктория знала — это Сергей. Он ждал её. Он всегда ждал её.

Она рухнула на сиденье, чувствуя, как дрожат колени. Сердце колотилось где-то в горле, и она не могла отдышаться, будто пробежала марафон. стакан стоял перед ней, и чай в нём снова был полным, горячим до обжига, пар поднимался тонкой струйкой и сворачивался причудливыми кольцами.

— Ты испугалась, — констатировал Темптер, и в его голосе не было насмешки — только холодное, клиническое удовлетворение. — Хорошо. Страх — это честно. Страх — это единственное, что не врёт.

Он откинулся на спинку сиденья и жестом фокусника вытащил из воздуха новую рюмку с золотой жидкостью. Но на этот раз в рюмке плавал маленький чёрный глаз — без белка, без зрачка, просто тёмный шар, который смотрел на неё с той стороны стекла.

— Теперь моя очередь, — сказал Темптер и улыбнулся. — Михаил рассказал тебе про своего любимого Иова, про смиренного дурака, который ползал по степи и благодарил небо. А теперь я расскажу тебе про настоящего мужчину. Про того, кто брал то, что хотел, и не просил разрешения.

Он поднёс рюмку к губам, но не выпил — только вдохнул пар, который поднимался от золотой жидкости, и в его жёлтых глазах зажглись огоньки, как у волка, который выслеживает добычу.

— Девяностые годы. Москва. Время, когда пахло кровью и долларами. Грязное, мокрое, вонючее время, когда каждый второй носил кожаный пиджак и думал, что он царь мира. Среди них был один. Звали его Давид. Никто не знал его настоящей фамилии, да и какая разница? Давид — и всё. Крутой бандит, держатель трёх рынков, десятка точек и пол управы в кармане. У него была машина — чёрная «Волга», которая вся была в тонировке, изнутри обита бархатом, а на торпеде стоял маленький золотой крестик, которым он вскрывал конверты с деньгами.

Он поднял рюмку, и золотая жидкость в ней закружилась воронкой. Виктория смотрела на неё, и в этой воронке ей начали мерещиться лица — мужские, жёсткие, со шрамами, с небритыми щеками.

— У Давида был водитель. Сержант, отставник, прослуживший в Афгане, а потом в Чечне, и вернувшийся с орденом на груди и пулей в позвоночнике. Пуля досталась ему в спину, и с тех пор он хромал, и каждый его шаг отдавался болью. Но он не жаловался. У него была жена. Красивая. Рыжая, с глазами зелёными, как недозрелые яблоки. Он любил её, как любят только те, кто однажды видел смерть в лицо. Она была его воздухом, его водой, его единственным чистым местом в этом вонючем мире.

Темптер сделал паузу, и тишина в вагоне стала густой, как кисель. Даже цыгане затихли, даже солдаты перестали шептаться. Только колёса стучали — ровно, неумолимо, как секундная стрелка на часах, которые отсчитывают чью-то жизнь.

— Давид увидел её на рынке. Она покупала картошку, стояла в очереди с другими бабами, и на ней было простое ситцевое платье, которое просвечивало на солнце, потому что ткань была тонкой, и она была красивой, такой красивой, что у Давида пересохло во рту. Он подошёл к ней, взял её за руку — грязной, жирной рукой, которая только что пересчитывала пачки денег, — и сказал: «Ты моя».

— Она не пошла? — спросила Виктория, хотя уже знала ответ. Она чувствовала, как эта история отзывается в ней болью, как старая рана, которая начинает зудеть перед дождём.

— Она пошла, — усмехнулся Темптер, и в его усмешке было столько древней, вселенской тоски, что Виктория вздрогнула. — А что ей оставалось? Её муж, сержант, лежал в госпитале после операции, ему грозила ампутация ноги. У них не было денег на лекарства, на нормальную палату. Давид пришёл в больницу, достал пачку стодолларовых купюр, положил их на тумбочку и сказал: «Это аванс. Если через неделю твоя жена не будет жить у меня — я выброшу тебя из

окна прямо на каталку». И ушёл. А муж ничего не сказал, потому что, что он мог сказать? У него даже пистолета не было, он сдал его при выходе на пенсию.

Виктория закрыла глаза. Она видела эту женщину — рыжую, тонкую, с зелёными глазами, которая стояла в дорогой квартире, которую Давид завалил шубами и золотом, и смотрела в окно, где за тонированным стеклом проплывали машины, и в этом окне отражалась её собственная смерть.

— Что случилось потом? — спросила она, не открывая глаз.

— Давид взял её силой. В тот же вечер. Он не спрашивал, он просто взял, а она не сопротивлялась, потому что у неё был договор с самой собой — она терпит три дня, она помогает мужу встать на ноги, она соберёт деньги и убежит. Но она не убежала, — Темптер засмеялся, но смех его был сухим, ломким, как треск костра. — Она привыкла. К хрустальному, к шубам, к дорогой еде. Она забыла, что такое ситцевое платье, и когда её муж, сержант, выписавшись из больницы, пришёл к ней и позвал её домой, она отказалась. Она сказала: «Я теперь здесь живу. Не жди меня».

— Он убил его? — тихо спросила Виктория.

— Нет, — ответил Михаил, который до этого молчал. Он раскрыл свою светящуюся книгу, и на страницах её заплескали тени. — Он умер сам. На следующий год, когда Давида посадили за решётку и имущество конфисковали, эта женщина пришла к нему в госпиталь, где он лежал, и он не взял у неё ничего. Ни воды, ни денег, ни руки. Он просто посмотрел на неё и сказал: «Ты умерла для меня в тот день, когда ты ушла к нему». И она ушла, и больше никогда его не видела. А Давид сгнил в тюрьме, потому что его подставили свои же. За то, что он взял чужую жену, никто не мстил — в девяностые это была обычная история. Его посадили за то, что он не поделился прибылью. Такая вот мораль, Виктория. Не бывает справедливости. Бывает только выбор.

Темптер щёлкнул пальцами, и рюмка в его руке исчезла, а вместо неё появилась вторая — точно такая же, но с мутной, белой жидкостью, которая пульсировала, как живая.

— Эта женщина — Вирсавия. А её муж — Урия Хеттеянин. Ты знаешь эту историю, Виктория. Библия, Ветхий Завет. Царь Давид увидел купающуюся Вирсавию, взял её, а мужа отправил на верную смерть, чтобы не мешал. Только в моём варианте Урия не погиб на поле боя — он остался жить, и он принял свой крест. Он простил её. Но она не простила себя.

Виктория подняла глаза на окно. Она уже не удивлялась, когда за стеклом разворачивалось другое пространство. Теперь там была маленькая квартира с низким потолком, заставленная старой мебелью, из кухни доносился запах пирогов, и на столе, на вышитой скатерти, стоял горячий, дымящийся пирог с золотистой корочкой.

А рядом с пирогом стояла она. Женщина. Высокая, с седыми, гладко зачёсанными волосами, с острыми чертами лица и глазами, которые были холодными и жёсткими, как у хищной птицы. Она улыбалась — волчьей улыбкой, от которой у Виктории скрутило живот, потому что она узнала эту улыбку. Это была улыбка её свекрови.

Екатерина Васильевна.

Та самая женщина, которая через несколько лет скажет ей: «Если ты не оставишь ребёнка, мы уведём тебя в тайгу, и тебя никто никогда не найдёт».

Пирог на столе был румяным, сдобным, с пышной корочкой, но, когда Виктория взглядела в него, она увидела, что начинка в нём не яблочная — она была чёрной, тягучей, как дёготь, и от неё поднимался не сладкий пар, а горький, полынный дым.

Свекровь смотрела прямо на неё — через стекло, через время, через все годы, и её губы шевелились. Виктория не слышала слов, но она знала, что она говорит. Она говорит: «Ты не нужна нам. Только ребёнок. Ты — пустое место».

Виктория схватила стакан и поднесла его к губам, но чай обжёг губы, и она закашлялась.

— Она всегда так улыбалась, — прошептала Виктория, не в силах отвести взгляд от окна. — Она ставила передо мной пирог, говорила «ешь, доченька», а потом шептала Серёже, что я им не пара, что я не умею ни ухаживать за домом, ни растить детей. Что я слабая, что я никчёмная. И он слушал её. Он всегда слушал её.

Темптер наклонился вперёд, и его жёлтые глаза в упор уставились на неё.

— Ты чувствуешь это, да? Тот самый запах. Полынь, горечь, тот самый пирог, который ты не могла съесть до конца, потому что он был начинен унижением и страхом. Это твой ад, Виктория. И он начался именно тогда — не в Забайкальске, а здесь, на этой кухне, где твоя свекровь ставила перед тобой этот чёртов пирог и смотрела, как ты давишься, но улыбаешься в ответ, потому что ты боялась сказать «нет».

Виктория смотрела в окно, и картинка там менялась. Теперь свекровь сидела за столом, а напротив неё сидела она — молодая, с тёмными волосами, с огромным животом, и держала в руках кусок пирога, но не могла откусить. Свекровь улыбалась своей волчьей улыбкой и что-то говорила, и молодая Виктория кивала, и по её щеке текли слёзы, которые она старательно вытирала, чтобы никто не заметил.

— Она сказала мне, что я назову ребёнка Сергеем. Что я не имею права давать ему имя, потому что это — их кровь, их род. И я согласилась. Я сказала «да» и улыбнулась. А потом они вдвоём — свекровь и Сергей — сидели за этим столом и обсуждали, как я буду рожать, а я стояла в углу с этим пирогом в руках и чувствовала, что я не человек. Я — контейнер для их ребёнка. Я — инкубатор.

Михаил медленно закрыл книгу. Лицо его было печальным, но в глазах горел ровный, тёплый свет.

— Ты не обязана была терпеть, Виктория, — сказал он тихо. — Ты могла уйти. Могла сказать «нет». Могла взять свой чемодан, сесть на другой поезд и никогда не оборачиваться. Но ты не ушла. Ты осталась. И ты оставалась все эти годы. Почему?

Она подняла на него глаза, и они были мокрыми от слёз.

— Потому что я верила, — прошептала она. — Я верила, что если я буду хорошей, если я буду терпеть, если я съем этот пирог до конца, они меня полюбят. А они не полюбили. Они только брали. Брали мою жизнь, мою волю, моего ребёнка, моё имя.

Темптер издал странный звук — что-то среднее между вздохом и смешком.

— Вирсавия тоже так думала, — сказал он и посмотрел на свою пустую рюмку. — Она думала, что, если она будет лежать в шёлковых простынях и терпеть прикосновения Давида, он полюбит её. А он просто использовал её. И выбросил, когда она перестала быть нужной. Ты не лучше её, Виктория. Но ты не хуже. Ты — такая же. Человек, который так боится одиночества, что выбирает ад, потому что в аду хотя бы есть компания.

Поезд резко качнуло, и из тамбура послышался голос Серафима:

— Следующая станция — «Рождение». Стоянка девять месяцев. Приготовьтесь.

Виктория снова взглянула в окно. Там уже не было кухни, не было свекрови, не было пирога. Там была белая, бескрайняя метель, и в этой метели ей почудились чьи-то руки — большие, сильные, которые тянулись к ней из пустоты.

Она взяла стакан с чаем и прижала его к груди, чувствуя, как горячее стекло греет её ледяную кожу.

— Я хочу жить, — сказала она, и голос её был тихим, но твёрдым. — Я хочу быть той женщиной, которая говорит «нет» и уходит. Я хочу быть той, кто не съест этот пирог.

Михаил улыбнулся — впервые за всё время — и в этой улыбке было столько света, что вагон на мгновение показался ей не тюрьмой, а собором.

— Тогда пей чай, Виктория. Пей до самого дна. И когда он закончится — ты поймёшь, что ты уже свободна.

Она поднесла стакан к губам и сделала глубокий, долгий глоток. Чай обжигал, но она уже не чувствовала боли — только жар, который растекался по телу, сжигая её страх, её сомнения, её старую, раненую душу.

А колёса стучали, стучали, стучали, унося её всё дальше в ту жизнь, которую она так старательно забыла, чтобы когда-нибудь, в самом конце, вспомнить её заново и понять, что даже из самого тёмного ада есть выход. Надо только не бояться открыть дверь.

Глава 5. Анатомия на кухонном столе

Она не заметила, как поезд остановился. Просто в какой-то момент стук колёс затих, и вместо ритмичного грохота наступила та особенная, глухая тишина, в которой слышно, как потрескивают угли в печке и как где-то далеко-далеко лает собака. Виктория подняла голову от стакана — чай всё ещё дымился, хотя она не пила его уже давно, — и поняла, что они стоят.

— Перрон «Сосновка», — голос Серафима раздался из тамбура, приглушённый расстоянием, но отчётливый, как удар колокола. — Выходящие готовятся. Остающимся — оставаться.

Михаил и Темптер исчезли. Просто растворились в воздухе, оставив после себя лёгкий запах — от одного пахло ладаном и старым хлебом, от другого — серой и горелой плотью. Виктория осталась одна за столом, сжимая в руках горячий стакан, и смотрела в окно, где вместо привычной серой степи теперь стоял заснеженный перрон с деревянным настилом, и на этом настиле, под тусклым светом единственного фонаря, стоял он. Сергей.

Он был таким же, как в воспоминании, — высокий, плечистый, в тяжёлом полушубке и ушанке, сдвинутой на затылок. В руках он держал букет полевых цветов — уже увядших, замёрзших, но она видела, как его пальцы, те самые, хирургические, сжимают стебли с той же уверенностью, с какой он сжимал скальпель. Он смотрел прямо на неё, и в его глазах не было ни улыбки, ни тепла — только терпеливое ожидание, как у человека, который знает, что добыча никуда не денется.

— Выходи, — сказал он, и Виктория услышала его голос через стекло, хотя оно было закрыто. — Тайга ждёт.

Она встала, не помня себя. Ноги сами понесли её к выходу, и когда она переступила порог вагона, холод обжёг лицо, как пощёчина. Сергей шагнул к ней и протянул букет. Его пальцы коснулись её ладони — сухие, тёплые, несмотря на мороз.

— Замёрзла? — спросил он, и его голос был низким, ровным. — Ничего, привыкнешь. Здесь зима девять месяцев в году. А остальные три — комары и грязь.

Она улыбнулась, пряча дрожь. Она была счастлива. Она помнила это ощущение — тепло, которое разливается в груди, когда смотришь на него. Она была глупой, влюблённой, молодой, и она думала, что это навсегда.

Видение сменилось, как в калейдоскопе. Теперь она стояла на пороге дома. Не дома — избы. Бревенчатой, низкой, с маленькими оконцами, в которые смотрела тайга. Внутри пахло деревом, сушёными травами, и ещё чем-то металлическим, что она тогда не могла определить, а теперь, оглядываясь из поезда, поняла: это был запах крови. Старой, засохшей крови, которая вьелась в половицы и впиталась в стены.

Кухня.

Она стояла на кухне, и Сергей разделял тушу.

Он пришёл с охоты, когда за окнами уже стемнело, и на плече у него висела тяжёлая туша дикой собаки — большой, с жёсткой серой шерстью, ещё тёплой. Он повесил её на крюк, вбитый в потолок, и принялся свежевать её, делая надрезы уверенно, почти ласково. Нож в его руках двигался плавно, как продолжение пальцев.

— Смотри, — сказал он. — Видишь, как мышцы идут вдоль позвоночника? Это прямая мышца спины. Она держит корпус. А здесь, — он указал на место между рёбер, — диафрагма. У собак она развита слабее, чем у человека, но принцип тот же.

Виктория стояла рядом, держа в руках миску, куда он складывал внутренности. Она не чувствовала отвращения — только странное, замороженное спокойствие, когда смотришь на то, что тебя одновременно пугает и притягивает.

— Ты как будто любишь это, — сказала она.

Сергей поднял на неё глаза. В них плясали отблески керосиновой лампы.

— Я изучаю их, — ответил он и улыбнулся той самой улыбкой, от которой у неё замирало сердце. — Знание — это сила, Виктория. Ты когда-нибудь видела, как устроен человек изнутри? Как сосуды переплетаются, как нервы тянутся от позвоночника к пальцам, как сердце бьётся даже тогда, когда его уже вынули из груди?

Он вытащил из туши лёгкие — розовые, влажные, ещё дышащие, потому что собака была убита всего час назад. И вдруг он начал рисовать. На листе бумаги, который лежал на столе, он чертил углём линии — изломанные, точные, как чертежи, — и она смотрела на них, не в силах отвести взгляд.

Он рисовал анатомию. Мышцы, сухожилия, скелет. Он рисовал не собаку — он рисовал человека. Она поняла это, когда он вывел контур плеча, и пальцы его дрогнули, как будто он прикасался к чему-то священному.

— Хирург должен знать каждую линию, — сказал он, не отрываясь от бумаги. — Каждый разрез, каждый шов. Если ты ошибаешься на миллиметр — человек умирает. Или живёт, но уже не человеком. Калеккой.

Он замолчал и посмотрел на неё. В его взгляде она увидела не только увлечённость — она увидела одержимость. Ту самую, которая через несколько лет заставит его разделять собак на кухонном столе, рисовать их внутренности и говорить о том, что он хочет понять природу боли. И она ассистировала ему, потому что он просил. Потому что он говорил, что она нужна ему. Потому что она верила, что так она становится частью его мира.

Беременность.

Она вспоминала запах пирогов. Снова пирогов. Свекровь приехала, когда живот стал большим, когда уже нельзя было повернуться боком, чтобы завязать шнурки. Екатерина Васильевна вошла в дом, как военная диктатура, — с двумя большими чемоданами, с запахом нафталина и власти.

— Ну что, доченька, — сказала она, ставя чайник на плиту и хлопоча по хозяйству, — ты, главное, лежи, отдыхай. Я всё сделаю. Ты у нас теперь сосуд, сосуд должен быть в покое.

Сосуд.

Виктория помнила это слово до дрожи. Сосуд, инкубатор, контейнер для потомства. Она лежала на кровати, и свекровь кормила её пирогами с полыньёю, а Сергей сидел за столом и рисовал очередную собаку, которую он принёс из леса. Он уже перестал разговаривать с ней. Только кивал, когда она спрашивала его о чём-то, и смотрел сквозь неё, как сквозь стекло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.